

III. К ПОСЛЕДНЕЙ СВОБОДЕ

...На город с юга шла метель.
Замолкли ангел и свирель.
Снег запорошивал купель.
Потом звезда затмилась.

(Д. Самойлов. "Блок. 1917")

1.

Умирание, смерть и бессмертие Блока — всё разом — нашло себе выражение в несравненных строках Марины Цветаевой:

...Огромную впалость
Висков твоих — вижу опять.
Такую усталость —
Ее и трубой не поднять.

Державная пажить,
Надежная ржавая тишь.
Мне сторож покажет —
В какой колыбели лежишь.

(*"Без зова, без слова..."*, 25 ноября 1921 г.)

Собственно умирание, предсмертное состояние Блока — форму его умерщвления — тоже ни один из современников не определил с такой силой и с таким лаконизмом, как Цветаева:

...заживо ходил —
Как раздавленный.

(*"Кем полосынька твоя..."*, "Ахматовой")

Но о самом факте удушья, удушения свидетельствуют и другие очевидцы. Е.И. Замятин:

«...его слова: «Дышать нечем... Душно. Болен, может быть».

Замятин вспоминает слова Блока, сказанные летом 1920 г., почти *за год* до болезни. «Быть может, и в смерти Блока была своя мудрость, — пишет Замятин, — Блок слишком много себя отдал последней своей Прекрасной Даме — огненной и вольной стихии, и слишком больно ему было, когда от огня остался только один дым. В дыму он не мог жить. И вот почему в его смерти какая-то логика» (*"Записки мечтателей"*, №4, II. 1921).

Ю. Анненков:

«В последний год его жизни разочарования Блока достигли крайних пределов. В разговорах со мной он не боялся своей искренности. «Я задыхаюсь! — повторял он. — И не я один: вы тоже. Мы задыхаемся, мы задохнемся все! Мировая революция превратилась в мировую грудную жабу!» (*"Дневник моих встреч"*, т. I).

Факт удушения Блока настолько сам собою разумелся для современников, что Владислав Ходасевич в статье "Кровавая пища"⁹²⁾ — мартирологе русской литературы, рассказывая, кто из писателей каким способом изничтожался, просто говорит «задушенный Блок», не считая нужным разъяснять, как, почему, кем или чем Блок был задушен; значит, для автора и его читателей это было дело самоочевидное.

18 июня 1921 года Блок записал в дневнике:

«Мне трудно дышать, сердце заняло полгруди». Это была сердечная болезнь, и дни его жизни к этому времени были сочтены, но ни болезнь, ни истощение, ни служебная, учрежденческая каторга⁹³⁾ — сами по себе еще не объясняют смерти Блока; эта дневниковая запись не должна рассматриваться с одной только терапевтической точки зрения.

Э. Ф. Голлербах вспоминает про Блока:

«Все яснее в нем обозначалась воля к смерти, все слабее становилась воля к жизни. Он избегал говорить о своих настроениях, но иногда они прорывались наружу помимо его воли.

Так было однажды в разговоре с Г. И. Чулковым, который рассказывал Блоку о своих литературных планах и начинаниях. Блок слушал внимательно, но без интереса, и вдруг прервал рассказчика вопросом: «Георгий Иванович, вы хотели бы умереть?» Чулков ответил не то «нет», не то «не знаю», Блок сказал: «А я очень хочу». Это «хочу» было в нем так сильно, что люди, близко наблюдавшие поэта в последние месяцы его жизни, утверждают, что Блок умер оттого, что хотел умереть» ("Образ Блока". Альманах "Возрождение". М., 1923 г.).

⁹²⁾ Кстати, в "Кровавой пище" главная мысль автора состоит в том, что русский писатель во все времена — человек обреченный, что всех писателей так или иначе убивает либо государство российское, либо общество, либо то и другое одновременно. Ходасевич считает, что от этой участи не уйти никому: нет спасения и тем писателям, которые проявляют полную лояльность (и даже более того) к существующим порядкам. (Но речь, понятно, идет о *настоящих* писателях, для которых подобострастие все-таки не ремесло, а ремесло — литература.) Ходасевич пишет: «Лесков в одном из своих рассказов вспоминает об инженерном корпусе, где он учился и, где еще живо было предание о Рылееве. Посему в корпусе было правило: за сочинение чего бы то ни было — даже к прославлению начальства и власти клонящегося — порка: 16 розог, буде сочинено в прозе, и 25 — за стихи». Эту российскую традицию Ходасевич считает неизменной. Однако традиция совершенствовалась. Одно дело, когда весь жизненный уклад общества приближает писателя к могиле, другое дело, когда писателя казнят прямо и непосредственно за его писательство. (Рылеев — не тот случай: его казнили не как писателя, а как участника и одного из руководителей восстания.) Во время же оно, — «вот какой огромный почет был оказан слову: за него убивали» (Л.К. Чуковская). А то, подумаешь, — порка: не велика честь!

⁹³⁾ «Из великого поэта, воплотившего чаяния и страсти эпохи, он превратился в рядового поденщика: то составлял вместе с нами каталоги для издательства Гржебина, то с головой уходил в редактирование переводов из Гейне, то по заказу редакционной коллегии деятелей художественного слова писал рецензии о мельчайших поэтах, которых не увидишь ни в какой микроскоп...» (К. Чуковский).

«он очень тяготился заседаниями... Началось это с весны 1920 г., когда он редактировал сочинения Лермонтова. Он... написал такое предисловие, какое мог написать только Блок: о вещих снах у Лермонтова, о Лермонтове-боговидце. ...он был очень доволен, что пришлось поработать над любимым поэтом, и вдруг ему сказали на одном заседании, что его предисловие не годится, что в Лермонтове важно не то, что он видел какие-то сны, а то, что он был «деятель прогресса», «большая культурная сила», и предложили написать по-другому... Блок не сказал ничего... Чем больше Блоку доказывали, что надо писать иначе, тем грустнее, надменнее, замкнутее становилось его лицо» (К. Чуковский). «... у нас в Союзе (Блок был председателем Петроградского отделения Союза поэтов. - А.Я.) служил матрос. Матрос был очень мил и работящ, но однажды - с кем беды не бывает! - украл у хозяина квартиры, где помещался Союз, соусник... и хозяин в 9 часов утра звонит Блоку, требуя расследования» (Надежда Павлович. Из воспоминаний о Блоке. "Рупор". 1923, № 3) «Службы» стали почти невыносимы» (Блок. Дневник, май 1921 г.).

Среди людей, «близко наблюдавших поэта в последние месяцы его жизни», был Корней Иванович Чуковский, который пишет про Блока: «Заболел он в марте 21 года, но начал умирать гораздо раньше, еще в 1918 году, сейчас же после написания "Двенадцати" и "Скифов"».

Насчет 18-го года сказано абсолютно точно — поручкой тому слова самого Блока:

«...заметна стала убыль... той музыки, которая звучала в конце 1917 года и в первой половине 1918 года...»

Со второй половины 18-го года и чем дальше, тем больше, Блок ощущал время и пространство — как безмузыкальное, беззвучное.

После "Двенадцати" и "Скифов" Блок, можно считать, уже не писал стихов. «Почему не пишете?» — спрашивал его Чуковский. И Блок отвечал:

«Все звуки прекратились... Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?».

«Новых звуков давно не слышно, — приводит Чуковский слова Блока, — все они притушены для меня, как, вероятно, для всех нас... Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве».

«Он онемел и оглох. То есть он слышал и говорил, как обыкновенные люди, но тот изумительный слух и тот серафический голос, которыми обладал он один, покинули его... Все для него вдруг стало беззвучно, как в могиле... Самую, казалось бы, шумную, крикливую и громкую эпоху он вдруг ощутил, как беззвучие.

...Мы проходили с ним по Дворцовой площади и слушали, как громяхают орудия.

«Для меня и это — тишина, — сказал он. — Меня клонит в сон под этот грохот... Вообще в последние годы мне дремлется» (К. Чуковский).

И все-таки Блок до конца не расставался с мечтой писать стихи:

«Следующий сборник стихов, если будет: "Черный день"» (Дневник, 6 февраля 1921 г.). Черно-белая гамма "Двенадцати" в спектре Блока сменилась сплошной чернотой:

«Всю ночь — черные сны, а также очень грозные полусны, полуявь», - читаем в дневнике.

«Черные сны» для Блока — это даже не сны, а продолжение, продление дневных призраков («полусны, полуявь»).

«Всю жизнь видел отличные сны, а теперь нет снов, — жаловался Блок Чуковскому, — либо не снится ничего, либо снится служба: телефоны, протоколы, заседания...»

В 18-ом году еще светила одинокая звезда... В последний день этого года, 31 декабря, Блок занес в записную книжку:

«Почти полный мрак. Какой-то старик кричит, умирая от голода. Светит одна ясная и большая звезда».

«Зиму 1918-19 г. он переживал как «Страшные дни» (так надписал он одну подаренную свою книгу в декабре 1918 г.)... «Страшные дни» обступили его» (Иванов-Разумник. Памяти Блока).

Беззвучное пространство было для Блока пространством безвоздушным, удушающим.

Существенно то обстоятельство, что музыка начала убывать сразу после "Двенадцати" и "Скифов"; значит, "Катилина" и тем более "Крушение гуманизма" появились на исходе музыкальных сил Блока, т.е., точнее говоря, на исходе определенного (не последнего, как увидим) музыкального цикла. (В обоих манифестах романтической идеологии слово «музыка» повторялось без конца, но это было со стороны Блока подсознательное стремление убедить себя, что музыка есть, тогда как была лишь имитация музыки, был спад

большой музыкальной волны, принесший "Двенадцать", "Интеллигенцию и революцию", "Скифов".)

Здесь неоднократно цитировалась записка Блока о "Двенадцати" (апрель 1920 года); там говорится и следующее:

«Во время и после окончания "Двенадцати" я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, от крушения старого мира)».

Имеется свидетельство, что в 20-ом году Блок «не отрицал, что революция явление огромное, но он уже не считал ее явлением *безусловно* положительным и склонен был признавать ошибкой ту свою веру в нее, какая веяла на страницах "Двенадцати" и "Книги об интеллигенции"»⁹⁴⁾ (А. Тиняков. Памяти А. А. Блока. "Последние новости", 1923, № 33, Пг.).

Важнее другое свидетельство; в 20-ом году А. А. Блок писал Г. П. Блоку:

"Двенадцать", — *какие бы они ни были* — это лучшее, что я написал, потому что тогда я жил современностью».

Все в той же блоковской записке 20-го года о "Двенадцати" говорится:

«Оттого и не отрекся от написанного тогда, что оно было написано в согласии со стихией».

Вот в чем дело. Блок и хотел бы отречься от своей поэмы — из общих соображений, ввиду переоценки ценностей — да не мог отречься: "Двенадцать" были правдой, были поэзией.

«И все-таки золотник правды — очень настоящей — во всем этом есть», — сказал о революции Блок летом 1920 года (Е. Замятин. Воспоминания о Блоке. "Русский современник", 1924, № 3).

2.

После "Двенадцати" Блок не ощущал больше музыки *вовне* (нигде — будь то очередное заседание во "Всемирной литературе" на Моховой⁹⁵⁾ или каталажка ЧК на Гороховой⁹⁶⁾ - все равно), а потому и внутренней музыки не хватало на стихи.

⁹⁴⁾ Имеется в виду прежде всего статья "Интеллигенция и революция", главная в названном сборнике статей Блока.

⁹⁵⁾ «...едва ли ему было полезно ходить почти ежедневно пешком такую страшную даль — с самого конца Офицерской на Моховую...

...У него еще хватало силы таскать на спине из дальних кооперативов капусту, дежурить по ночам у ворот, рубить обледенелые дрова, но даже походка его стала похоронная, как будто он шел за своим собственным гробом. Нельзя было смотреть без тоски на эту страшную неторопливую походку, такую величавую и такую печальную» (К. Чуковский).

«Последним словом, которое я услышал от Блока... у подъезда "Всемирной литературы" ...было слово: «Устал». Впрочем, здесь не было жалобы: Блок никогда не жаловался...» (Ю. Анненков. Смерть Блока. "Жизнь искусства", 1921, №804).

Но звуки все же роились в его душе (хотя он не считал их звуками, раз они не выливаются стихами). В 21-ом (смертном) году реакцией Блока на окружающую немоту был могучий музыкальный всплеск, породивший пушкинскую тему, увенчавшуюся потрясающей речью "О назначении поэта". За этим всплеском поднялась последняя мелодия и дала дивную прозу — "Ни сны, ни явь". Вот отрывок из этой прозы:

«Усталая душа присела у порога могилы. Опять весна, опять на крутизнах цветет миндаль. Мимо проходят Магдалина с сосудом, Петр с ключами; Саломея несет голову на блюде; ее лиловое с золотом платье такое широкое и тяжелое, что ей приходится откидывать его ногой.

— Душа моя, где же твоё тело?

— Тело мое все еще бродит по земле, стараясь не потерять душу, но давно уже ее потеряв.

Окончательно разозлившийся черт придумал самую жестокую муку и посылает бедную душу в Россию. Душа смиренно соглашается на это. Остальные черти рукоплещут старшему за его чудовищную изобретательность.

Душа мытарствуется по России в двадцатом столетии...»

В этой отрывке — весь Блок последних лет. Это было тихое прощание с жизнью. А прощанием громогласным и предсмертным подвигом Блока была речь "О назначении поэта".⁹⁷⁾

3.

Деромантизация сознания Блока уничтожила в нем мертвое начало — романтическую идеологию, но она же убила в Блоке начало живое — романтическую поэзию. Блок был поэт романтический — таково устройство его души — и ничем иным он быть не мог.

Некоторым критикам только бы процитировать письмо Блока к А. Чеботаревской от 27 декабря 1915 г.: «Я ведь никогда не любил мечты; когда мне удастся более или менее сказать свое, настоящее, — я даже ненавижу мечту, предпочитаю ей самую серую действительность».

⁹⁶⁾ «Участие в лево-эсеровской прессе ("Двенадцать" появились впервые в газете "Знамя труда", "Скифы" — в журнале "Наш путь"; и то, и другое — лево-эсеровские издания. — А.Я.) не прошло бесследно. Когда в феврале 1919 г. был арестован в Москве Центральный комитет партии, произошли аресты и в Петрограде. Вечером. 15 февраля Александр Александрович был тоже арестован и просидел на Гороховой до утра 17 февраля» (В.Н. Княжнин. Александр Александрович Блок. Пг., 1922).

«Александра Александровича предупреждали об аресте, и он имел полную возможность от него уклониться, но не пожелал этого сделать и по обыкновению своему пошел вечером гулять. В его отсутствие явился комиссар... Как только Александр Александрович вернулся с прогулки, он был арестован» (М.А. Бекетова. А. Блок. Пг. — Берлин, 1922).

«...Проснулись мы довольно поздно. В камере жизнь уже шла своим обычным порядком, уже начали готовиться к очередной отправке на Шпалерную, когда снова появился особый агент и, подойдя к Блоку, сказал: «Вы — товарищ Блок? Собирайте вещи... На освобождение!» ...Он ушел» (А.З. Штейнберг. Сб. "Памяти Блока", "Вольфила", II, Пг., 1922).

⁹⁷⁾ Б. Соловьев: «Статью о Пушкине написал смертельно больной... надломленный человек». О письме Блока Чуковскому от 26 мая 1921 года («слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка, своего поросенка») Б. Соловьев пишет: «Эти слова мог сказать только смертельно — телесно и душевно — больной человек». Б. Соловьев не был бы Б. Соловьевым, если бы он писал иначе. Критик Б. Соловьев и психиатр Д. Лунц должны обменяться рукопожатиями («Угодливые психиатры, клятвопреступники...» А. Солженицын. "Вот как мы живем", 15 июня 1970 года). Л. Долгополов не побоялся назвать вещь своим именем: пушкинскую речь Блока — гениальной.

Так и должен был рассуждать настоящий поэт-романтик. Он обязан сурово обращаться со своей мечтой, перемешивая ее с землей и тем самым плодотворяя, иначе романтика обернется бесплотностью, а значит — бесплодностью, иначе дар мечтания превратится в мечтательность, — и конец искусству. Блок снижал, заземлял, пародировал свою мечту, так же, как другой великий романтик — Генрих Гейне. Выходит у критиков, что Блоку не дорога была его мечта. Как же, как же...

Да, Блок поносил свою мечту; но зато потом он втройне поносил себя самого за это поношение:

«"Балаганчик" — произведение, вышедшее из недр департамента полиции моей собственной души» (Дневник, август 1917г.).

"Балаганчиком" Блок спародировал тему Прекрасной Дамы. Потом проклял "Балаганчик".

В записной книжке за 1916 год находим:

«Лучшими остаются "Стихи о Прекрасной Даме". Время не должно тронуть их, как бы ни был я слаб как художник».

Незадолго до смерти Блок сказал: «Я написал *один* первый том» (С.М. Соловьев. Воспоминания об Александре Блоке. "Письма Александра Блока", Л., 1925).

Всё правильно. Всё на своем месте. Лицо писателя Блока определяется и "Стихами о Прекрасной Даме", и "Балаганчиком", а всего верней — *сочетанием* того и другого. Но поэту-мифотворцу всего дороже его миф. Сказать Блоку «свое, настоящее» (из письма к А. Чеботаревской) объективно значило: дать миру миф. Мифы искусства, как уже говорилось, — это не искажение мира, а его открытие. Это тоже «образ мира в слове явленный» (Пастернак), но образ не пастернаковского рода, а такой, в котором *воображение преобладает* над реальностью (при том, что до конца воображение от реальности никогда не отрывается — иначе искусства нет, нет и мифа).

При всем громадном различии, например, между поэтикой Пушкина и поэтикой Пастернака — их образы⁹⁸⁾ сближает то, что они (образы) идут больше от непосредственного созерцания мира, чем от созерцания опосредствованного (воображения).

Этому нисколько не противоречит сгущенная метафоричность Пастернака (до 1940-ых годов) и всегдашняя новизна, неожиданность его метафор.

У Блока отдельных метафор сравнительно немного, но главные темы его поэзии — по существу метафоры.

«Поэтика Блока есть поэтика тайны» (К. Чуковский). Этого не скажешь, например, про поэтику Пастернака, хотя поэзия его есть тайна, и есть чудо (как всякое великое искусство).

Преобладание мечты над реальностью — основание романтической поэзии вообще, и у всех романтических поэтов есть элементы мифотворчества. Но далеко не все романтические поэты — мифотворцы в полном смысле этого слова, как Лермонтов, Блок, Маяковский,⁹⁹⁾ у которых находим заверченный миф, пронизывающий всю лирику.¹⁰⁰⁾

4.

⁹⁸⁾ Под «образом» понимается поэтическое слово как таковое, а вовсе не обязательно метафора.

⁹⁹⁾ В лирике Маяковского — от первых стихов и "Облака в штанах" до "Про это" и "Во весь голос" — переплетаются и сливаются в одну следующие темы: самоубийственная любовь к женщине, любовь к людям, столь же убийственная в своей непомерности; искупительная жертва поэта во имя рода человеческого; обратимость времени; воскресение. Всё это вместе взятое — миф Маяковского, миф *Любви*.

¹⁰⁰⁾ Принято считать, что природа мифа — эпическая, но это — в коллективном (народном) творчестве и в непосредственно идущих от него произведениях (Гомер).

Разрушение идеологического мифа в сознании Блока («мировой пожар» превратился для него в «мировую заварушку»¹⁰¹) привело и к разрушению мифа поэтического. Рухнула, собственно, только *вершина* блоковского поэтического мифа (Россия и революция, воплощающие мировую музыкальную стихию), и тем отчаяннее утверждал Блок *основание* своего мифа (Прекрасная Дама). Но миф — как всякий художественный образ, тема, мотив — не может держаться одним своим основанием: пока жив автор-мифотворец, миф тоже должен жить, обновляться, набирать высоту. Так и было у Блока — до "Двенадцати" включительно. Когда последняя мечта Блока была убита, у него не осталось больше творческих (конкретно — мифотворческих) сил. Был сокрушен миф Блока — был сокрушен и он сам.

Сравним три высказывания Блока, обращая внимание на их хронологическую последовательность.

«Все будет хорошо. Россия будет великой. Но как долго ждать и как трудно дожидаться» (Записные книжки, апрель 1917 г.).

«Настоящим дышать почти невозможно, можно дышать только... будущим» (из выступления на заседании Союза поэтов в августе 1920 г.).

«...все теперь будет меняться только в *дурную* сторону, а не в ту, которой жили мы, которую любили мы» (Дневник, апрель 1921 г.).

У Блока отняли мечту — и тем убили в нем поэта-романтика. Но поэт-романтик — это был *весь* Блок, *вся* его душа. Убили Блока.

Борение между мечтой и действительностью, романтикой и реализмом, иронией и патетикой непрерывно происходило в поэзии Блока. Этим борением была жива и его поэзия, и он сам. Он погиб, когда это борение прекратилось.

Следует обратить внимание на то, в чем — при их борьбе — выразилось единство этих противоположностей. Сознание романтика таково, что только мечта скрашивает для него действительность, делает ее — в конечном итоге — выносимой. Мечта Блока отталкивалась от действительности не только в смысле ее (действительности) отрицания, но отталкивалась также в буквальном (физическом) смысле этого слова: действительность, как ни плоха была, служила почвой, способной дать мечте толчок, необходимый для взлета. Другими словами: жизнь не убивала мечты поэта, а значит — порождала ее. События 1917-18 годов дали толчок последней мечте Блока. Эта мечта была освящена живой верой в Россию, она была *непосредственно* связана с реальностью (в сознании Блока) и была ориентирована на реальное воплощение. Очарование было так велико, что Блок не вынес разочарования.

Пока отношение Блока к революции было двойственным, мечта была жива: «Впереди Иисус Христос». Отношение Блока к народу тоже было двойственным: для Блока это был народ и была чернь — одновременно.¹⁰² «Народ» (в идеальном смысле, свободном от всех оттенков «черни») для Блока — представитель стихии, носитель музыки («музыка души народной»).

«Чернь» для Блока — носительница хамства¹⁰³ Блок верил, что «в огне революции — *чернь* преобразится в *народ*» (К. Чуковский), что на земле не останется хамства.

Революция кончилась для Блока к середине 18-го года. Стихии улеглись. К установившемуся в результате бушевания и усмирения стихий *порядку* отношение Блока

¹⁰¹) Из черновиков "Ни сны, ни явь".

¹⁰²) Понятие «народ» и «чернь» никогда не были для Блока тождественными. Но народ для него не был равен самому себе: он был и народом, и чернью.

¹⁰³) Понятие «хамство» было для Блока прямой противоположностью понятию «музыка». «Молодежь самодовольна, «аполитична», с хамством и вульгарностью» (Записные книжки, ноябрь 1915 г.). «Я не боюсь шрапнелей, но запах войны и сопряженного с ней — есть *хамство*... ..война, как всякое хамство, безначальна и бесконечна, безобразна» (Записные книжки, июнь 1916 г.). «Слаб человек, и все можно простить ему, кроме хамства» ("Катилина").

было *однозначно*. Надежде и вере пришел конец. Жертвенный порыв был исчерпан. Восторженно-трагическое предчувствие собственной гибели в происходящем сменилось угрюмо-безысходным сознанием гибельности происшедшего.

Чернь осталась чернью. Хамство — хамством. Поэт погиб.

«...последнее действие драмы заключается в борьбе поэта с чернью... Оно заканчивается всегда гибелью поэта.

...фазисы приобщения поэта к стихийному ритму, борьбу за ритм с чернью и гибель поэта я назвал не трагедией, а только драмой; действительно, в этом процессе нет ничего «очищающего», никакого катарсиса...»

Это записал Блок в дневнике 7 февраля 1921 года. Это относилось к Пушкину, но — как увидим дальше — пушкинская тема была в то время *единственной* его, Блока, *личной* темой.

Для Блока (субъективно) кончилась его трагедия: двойственное отношение к жизни («ненависть-любовь») сменилось безразличием к ней. Стоящая на пороге смерть представлялась Блоку не трагедией, а всего лишь драмой.¹⁰⁴⁾

С марта 1921 года до 7 августа, до смерти, Блока терзала болезнь. Но перед болезнью и смертью Блок успел пережить *очищение*. Ровно через шесть дней после того, как он записал в дневнике: «никакого катарсиса» — Блок испытал высочайшее блаженство. Испытал сам и заставил испытать многих.

Речь "О назначении поэта" была прочитана Блоком 13 февраля 1921 года на вечере в Доме литераторов, посвященном 84-й годовщине со дня смерти Пушкина... В редакционном предисловии к сборнику "Пушкин. Достоевский" (1921 г.), где была вторично¹⁰⁵⁾ напечатана речь Блока, говорится:

«Блок долго колебался, выступить ли ему с речью о Пушкине. Решившись, он в течение нескольких дней — не готовился, не работал, — а именно творил, как бы отойдя от всего, что происходило вокруг, в трепетном возбуждении собирая мысли и чувства. Он свою речь написал (и читал ее по тетради). Когда написал, ощутил большую радость и дня за два до выступления сказал друзьям, что готов, и для всех знавших его это было тоже большой радостью...

...На торжественном собрании в память Пушкина присутствовал весь литературный Петербург... Разное было всегда, и особенно в последние годы, отношение к Блоку, но то, что он сказал о Пушкине, и то, как он это сказал — с какой-то убежденной твердостью, — захватило всех, отразилось в слушателях не сразу осознанным волнением, вызвало долгие рукоплескания и возбудило долгие разговоры» (Примечание Г. Шабельской к речи "О назначении поэта". А. Блок, Собр. соч. в 8-ми томах; т. 6, стр. 515).

От мрака, что накапливался в душе, и от окружающего мрака Блок обращался к большим источникам света.

В 1908 году — после "Снежной маски" и перед "Страшным миром", "Плясками смерти" и "Черной кровью" — Блок потянулся к солнцу Толстого.

¹⁰⁴⁾ В дальнейшем автор постарается показать, что не только жизнь, но и смерть Блока была трагедией (если исходить из того представления о трагедии, которое досталось нам от древних греков и которое было у самого Блока).

В литературе о Блоке числится статья Е. Зозули "Трагедия Блока" (Встречи, "Огонек", М., 1927);

Е. Зозуля пишет о Блоке: «Развенчанный старым обществом, он не видел признания и со стороны нового. Эта обычная, в конце концов, трагедия художника в переходное время оказалась для Блока роковой». Дескать, от ворон отстал и к павам не пристал. У Зозули свое представление о трагедии вообще и о трагедии Блока — в частности.

¹⁰⁵⁾ Впервые — "Вестник литературы", 1921 г., № 3 (27).

От нестерпимой, кромешной, предгробовой мглы Блок устремился к солнцу Пушкина. В смертельной тоске Блок рванул к тому, кто воскликнул когда-то: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» Блок припал к Ангелу-Хранителю России. И Пушкин утолил смертельную тоску Блока. Пушкин даровал ему катарсис.

5.

Корней Чуковский показал, что такое *ветер* в поэзии Блока, разбором его стихов.

Борис Пастернак показал это по-своему:

Он ветрен, как ветер. Как ветер,
Шумевший в имении в дни,
Как там еще Филька-фалетер¹⁰⁶⁾
Скакал в голове шестерни.

И жил еще дед-якобинец
Кристалльной души радикал,
От коего ни на мизинец
И ветреник внук не отстал.

Тот ветер, проникший под ребра
И в душу, в течение лет
Недоброю славой и доброй
Помянут в стихах и воспет.

Тот ветер повсюду. Он — дома,
В деревьях, в деревне, в дожде,
В поэзии третьего тома,
В "Двенадцати", в смерти — везде.

("Ветер", Четыре отрывка о Блоке. Отрывок второй)

Стихия Блока — ветер.

Ветры бывают различных свойств, разных направлений и назначений. Последний ветер, который вырвался из груди у Блока, был ветер *свободы* (на сплошном этого рода безветрии).

Стихия Блока — огонь.

Умнейший Евгений Замятин сказал, что последней Прекрасной Дамой Блока была «огненная и вольная стихия». Перед смертью Блока эта стихия очистилась от романтической идеологии. Душа поэта, отряхнув наваждения и затрепетав чистейшим огнем свободы, испытала катарсис. Свобода истинная (а не та, обманувшая, о которой говорит Замятин) — вот кто была последняя Прекрасная Дама Блока.

В первую свою Прекрасную Даму Блок верил как в высшую (мистическую) реальность, не сомневался в ее объективном существовании. Последняя Прекрасная Дама Блока, свобода — действительно высшая реальность; она была, есть и будет всегда Прекрасной Дамой человечества. Но Блок ощущал эту — последнюю — Прекрасную Даму только в себе, внутри себя, он не видел ее вовне, и так как духовные силы его были подорваны, он не мог жить упованиями на то, что Она воссияет когда-нибудь над всем миром. Поэтому непродолжителен был связанный с катарсисом душевный подъем. Был «нестерпим окружающий мрак»,¹⁰⁷⁾ и сердце Блока не выдержало. Огонь свободы погас в нем вместе с

¹⁰⁶⁾ Форейтор в старом народном произношении (примечание Б.Л. Пастернака).

¹⁰⁷⁾ "Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух...", 1916 г.

огнем жизни. Он погас в сердце Блока, чтобы стать вечным огнем, вечным светом, чтобы никогда не угасать в его поэзии.

Последней прижизненной вспышкой этого огня — ярчайшей — была пушкинская, речь Блока, речь "О назначении поэта".

Дневник с 17 января по 7 февраля 1921 года говорит о том, что Блок был тогда целиком захвачен пушкинской темой. Блок перебирает даты пушкинских стихов, нащупывает в этих стихах их лейтмотив: *мотив свободы*:

17 января.

«...О Пушкине: в наше газетное время. «Толпа вошла, толпа вломилась... и ты *невольной* устыдилась и тайн и жертв, доступных ей». ¹⁰⁸⁾ Пушкин этого избежал. Его хрустальный звук различит только кто умеет. Подражать ему нельзя; можно только «сбросить с корабля современности» ¹⁰⁹⁾ («сверхбиржевка» футуристов, они же — «мировая революция»). Всё вздор перед Пушкиным...»

21 января.

«...Пушкин...

...1836. Из VI Пиндемонте (чтобы не узнали). Вот — свобода! Потенция: «Поэт может настаивать на своем праве (на личную свободу), потому что цель его деятельности не может быть определена ни им самим, ни другими заранее. Но ведь и там, где эта цель заранее со стороны определена, вмешательство в самый способ ее достижения портит дело. И извозчик, нанятый до места или на час, хочет, чтобы его не дергали и не мешали править лошадьми...»

Между 2 и 5 февраля.

«Пушкину в молодости...

Любовь и *тайная* свобода
Внушали сердцу гимн простой...

Прошло 17 лет. Пушкин «истомлен неравною борьбой»... Он опять говорит о какой-то «иной» свободе и определяет ее:

...Никому
Отчета не давать, ...

Эта свобода и есть «счастье». «Вот счастье, вот права!» ¹¹⁰⁾

6 февраля Блок приводит в дневнике «ряд изречений здравого смысла, которые теперь совершенно забыты», и пишет в связи с этими изречениями:

«Пушкин их хорошо понимал, потому что был культурен».

Года за три до этой записи Блок поморщился бы от одного только сочетания слов: «здравый смысл». Среди «изречений здравого смысла» первое — такое: «Для того, чтобы уничтожить что-нибудь, на том месте, которое должно быть заполненным, следует иметь наготове то, чем заполнить». Это по духу — нечто противоположное идее "Крушения гуманизма" и всей романтической идеологии Блока. Блоку осточертели все катаклизмы.

Еще в мае 1920 года Блок сказал ("Речь к актерам при закрытии сезона"):

¹⁰⁸⁾ Тютчев. "Чему молилась ты с любовью... "

¹⁰⁹⁾ Из "Пощецины общественному вкусу" — манифеста футуристов (1912 год).

¹¹⁰⁾ Пушкин. "Из Пиндемонти". (Пушкин пишет: Пиндемонти, Блок пишет: Пиндемонте. - А.Я.)

«...всегда будет время обезуметь и броситься вниз с вершины... В сладострастии «исканий» нельзя не устать. Горный воздух, напротив, сберегает силы».

7 февраля Блок делает в дневнике первоначальный набросок речи "О назначении поэта".

6.

Итак, 13-го февраля 1921 года Блок произнес свою пушкинскую речь (записана 10-го февраля).

«Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними — это легкое имя: Пушкин.

Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта - не лёгкая и не весёлая; она трагическая; Пушкин вел свою роль широким, уверенным и вольным движением, как большой мастер; и, однако, у нас часто сжимается сердце при мысли о Пушкине; праздничное и триумфальное шествие поэта, который не мог мешать внешнему, ибо дело его — внутреннее — культура, — это шествие слишком часто нарушалось мрачным вмешательством людей, для которых печной горшок дороже бога...

...Поэт — величина неизменная. Могут устареть его язык, его приемы; но сущность его дела не устареет.

Люди могут отворачиваться от поэта и его дела. Сегодня они ставят ему памятники; завтра хотят «сбросить его с корабля современности». То и другое определяет только этих людей, но не поэта; сущность поэзии, как всякого искусства, неизменна; то или иное отношение людей к поэзии, в конце концов, безразлично.

Сегодня мы чтим память величайшего русского поэта. Мне кажется уместным сказать по этому поводу о *назначении поэта* и подкрепить свои слова мыслями Пушкина.

Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что он пишет стихами; но он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он — сын гармонии, поэт.

Что такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни. Порядок — космос, в противоположность беспорядку — хаосу. Из хаоса рождается космос, мир, учили древние...

...из хаоса рождается космос; стихия таит в себе семена культуры; из безначалия создается гармония.

Мировая жизнь состоит в непрестанном созидании новых видов, новых пород...

...Мы знаем одно: что порода, идущая на смену другой, нова; та, которую она сменяет, стара; мы наблюдаем в мире вечные перемены; мы сами принимаем участие в сменах пород; участие наше большей частью бездейтельно: вырождаемся, стареем, умираем; изредка оно деятельно: мы занимаем какое-то место в мировой культуре и сами способствуем образованию новых пород.

Поэт — сын гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него: во-первых — освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых — привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих — внести эту гармонию во внешний мир.

Похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки, внесенные в мир, сами начинают творить свое дело. «Слова поэта суть уже его дела». Они проявляют неожиданное могущество: они испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в горах человеческого шлака...

...Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, внесенной в мир поэтом; борьба с ней превышает и личные и соединенные человеческие силы...

...От знака, которым поэзия отмечает на лету, от имени, которое она дает, когда это нужно, — никто не может уклониться, так же как от смерти. Это имя дается безошибочно.

Так, например, никогда не заслужат от поэта дурного имени те, кто представляют из себя простой осколок стихии, те, кому нельзя и не дано понимать. Не называются чернью люди, похожие на землю, которую они пашут, на клочок тумана, из которого они вышли, на зверя, за которым охотятся. Напротив, те, которые не желают понять, хотя им должно многое понять... — те клеймятся позорной кличкой: *чернь*; от этой клички не спасает и смерть; кличка, остается и после смерти, как осталась она за графом Бенкендорфом, за Тимковским, за Булгариным — за всеми, кто мешал поэту выполнять его миссию.

На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества... катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир...

...Первое дело, которого требует от поэта его служение, — бросить «заботы суетного света» для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину. Это требование выводит поэта из ряда «детей ничтожных мира».

Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы.

Дикий, суровый, полный смятенья, потому что вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт рождения. К морю и в лес потому, что только там можно в одиночестве собрать все силы и приобщиться к «родимому хаосу»,¹¹¹⁾ к безначальной стихии, катящей звуковые волны.

Таинственное дело совершилось: покров снят, глубина открыта, звук принят в душу. Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова; звуки и слова должны образовать единую гармонию. Это — область мастерства. Мастерство требует вдохновения так же, как приобщение к «родимому хаосу»; «вдохновение, — сказал Пушкин, — есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных»;¹¹²⁾ поэтому никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести нельзя; одно совершенно связано с другим; чем больше поднято покровов, чем напряженнее приобщение к хаосу, чем труднее рождение звука, — тем более ясную форму стремится он принять, тем он протяжней и гармоничней, тем неотступней преследует он человеческий слух.

Наступает очередь для третьего дела поэта: принятые в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир. Здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью.

Вряд ли когда бы то ни было чернью называлось простонародье. Разве только те, кто сам был достоин этой клички, применяли ее к простому народу. Пушкин собирал народные песни, писал простонародным складом; близким существом для него была деревенская няня. Поэтому нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пушкин мог разуместь простой народ. Пушкинский словарь выяснит это дело — если русская культура возродится.

¹¹¹⁾ Тютчев. "О чем ты воешь, ветр ночной?.. "

¹¹²⁾ Пушкин. Заметка "О вдохновении и восторге".

Пушкин разумел под именем черни приблизительно то же, что и мы. Он часто присоединял к этому существительному эпитет «светский», давая собирательное имя той родовой придворной знати, у которой не осталось за душой ничего, кроме дворянских званий; но уже на глазах Пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия. Эти чиновники и суть наша чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня...

...Чернь требует от поэта служения тому же, чему служит она: служения внешнему миру; она требует от него «пользы», как просто говорит Пушкин; требует, чтобы поэт «сметал сор с улиц», «просвещал сердца собратьев»¹¹³⁾ и пр.

Со своей точки зрения, чернь в своих требованиях права... она инстинктивно чувствует, что это дело так или иначе, быстро или медленно, ведет к ее ущербу. Испытание сердец гармонией не есть занятие спокойное и обеспечивающее ровное и желательное для черни течение событий внешнего мира. Сословие черни, как, впрочем, и другие человеческие сословия, прогрессирует весьма медленно. Так, например, несмотря на то, что в течение последних столетий человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным функциям организма, люди догадались выделить из государства один только орган — цензуру, для охраны порядка своего мира, выражающегося в государственных формах. Этим способом они поставили преграду лишь на третьем пути поэта: на пути внесения гармонии в мир; казалось бы, они могли догадаться поставить преграды и на первом и на втором пути: они могли бы изыскать средства для замутнения самых источников гармонии; что их удерживает — недогадливость, робость или совесть, — неизвестно. А может быть, такие средства уже изыскиваются?..

...Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех олухов; скорее добытая им гармония производит отбор между ними, с целью добыть нечто более интересное, чем средне-человеческое, из груды человеческого шлама. Этой цели, конечно, рано или поздно достигнет истинная гармония; никакая цензура в мире не может помешать этому основному делу поэзии.

Не будем сегодня, в день, отданный памяти Пушкина, спорить о том, верно или неверно отделял Пушкин свободу, которую мы называем личной от свободы, которую мы называем политической. Мы знаем, что он требовал «иной», «тайной» свободы. По-нашему, она «личная»; но для поэта это не только личная свобода:

...Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья.
Вот счастье! Вот права!..

Это сказано перед смертью. В юности Пушкин говорил о том же:

Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой.

Эта тайная свобода, эта прихоть... тесно связана с двумя первыми делами, которых требует от поэта Аполлон. Все перечисленное в стихах Пушкина есть необходимое условие для освобождения гармонии. Позволяя мешать себе в деле испытания гармонией людей — в третьем деле, Пушкин не мог позволить мешать себе в первых двух делах; и эти дела — не личные.

¹¹³⁾ Пушкин. "Чернь" ("Поэт и толпа").

Между тем жизнь Пушкина, склоняясь к закату, все больше наполнялась преградами, которые ставились на его пути. Слабел Пушкин — слабела с ним вместе и культура его поры: единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые сороковые годы. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это — не так. И, если это даже не совсем так, будем всё-таки думать, что это совсем не так. Пока еще ведь —

Тьмы низких истин нам, дороже
Нас возвышающий обман.

Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку...

...Пушкин умер. Но «для мальчиков не умирают Позы»,¹¹⁴⁾ сказал Шиллер. И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура.

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.

Это — предсмертные вздохи Пушкина, и также — вздохи культуры пушкинской поры.

На свете счастья нет, но есть покой и воля.¹¹⁵⁾

Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий... И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл.

Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни.

Но они мешали поэту лишь в третьем его деле. Испытание сердец поэзией Пушкина во всем ее объеме уже произведено без них.

Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение.

Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно...

...В этих веселых истинах здравого смысла, перед которым мы так грешны, можно поклясться веселым именем Пушкина».

Такова (с небольшими сокращениями) речь "О назначении поэта".

Это — лебединая песнь Блока. Поэт заявил черни, что он отказывается жить с ней на земле. Не было жертвенности и связанного с ней энтузиазма, была горькая неизбежность: Блок готов бы жертвовать собой во имя России и своего народа, но не ради тех, кого ставил

¹¹⁴⁾ Шиллер. "Дон-Карлос".

¹¹⁵⁾ Пушкин. "Пора, мой друг, пора!"

ниже людей. Это было сказано четко и ясно, было брошено прямо в лицо черни — с безграничным презрением. С тем и ушел Блок.¹¹⁶⁾

Речь была духовным завещанием Блока. Он обратился к своим наследникам, завещая им жить и беречь как зеницу ока последнюю человеческую свободу: свободу творческого духа, основание которой — *свободная совесть*. Эта свобода — последняя; она — высшая из всех свобод, потому что соприродна душе человека; и еще потому она последняя и высшая, что человек, даже потеряв все остальные свободы, не может расстаться с ней (расстаться с совестью), оставаясь человеком.

Еще Блок завещал своим наследникам хранить культуру и разум. Блок не знал имени хуже, чем имя *чернь*, но предсказал своим наследникам, что им придется иметь дело с теми, кому он, Блок, даже имени подобрать не может, с теми, кто догадается «изыскать средства для замутнения самих источников гармонии».

Для того, чтобы его наследники не растеряли друг друга, чтобы они не были заедены чернью и теми, кто хуже черни, кому нет имени, Блок завещал своим духовным наследникам лучший пароль — *веселое имя: Пушкин*.

Выступивший вслед за Блоком Ходасевич тут же подхватил призыв, сказав:

«...мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке».

Последнее свое стихотворение Блок написал за шесть дней до своей бессмертной речи. Стихотворение называется "Пушкинскому дому". Блок прощается с Пушкиным, прощается с жизнью.

Вот зачем в часы заката,
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.

Восстанавливается — в последний раз — блоковская цветовая гамма: к черному — белое.

Читая это стихотворение, надо помнить, что Блок писал его в пору, когда небо уже не дарило ему стихов.

Однако приведенная строфа — безупречна.

И еще:

Это — звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке.

А одно из четверостиший этого стихотворения хочется все повторять и повторять про себя:

¹¹⁶⁾ И все-таки, повторяю, не только вся жизнь, но и смерть Блока была трагедией. Трагедия жизни завершилась жертвенным приятием революции (завершилась "Двенадцатью"). Потом было погружение во мрак романтической идеологии ("Катилина", "Крушение гуманизма"), затем последовало субъективно-трагическое очищение, катарсис — выход к свободе, к Пушкину. Автор глубоко убежден, что чувство *очищения* с наибольшей *полнотой* Блок испытал именно во время *произнесения* своей пушкинской речи, записанной тремя днями раньше.

Мы, зрители трагедии, которая именуется жизнью и смертью Александра Блока, испытываем чувство катарсиса от *всей* трагедии с начала до конца.

Автор дал название книге ("Конец трагедии") в соответствии с блоковским пониманием *природы трагического*.

Пушкин! *Тайную свободу*
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!